

ИЗ "ВОСПОМИНАНИЙ"

... Университет - университетом¹, но меня тянуло страшно тогда и к литературе. Федор Иванович часто говорил со мною об этом.

- Я не знаю, что ты хочешь из себя сделать?--'рассуждал он, - если хочешь быть хорошим юристом, для чего тебе литература? Я вижу из всего этого, что ты на словах только соглашаешься на юридический факультет, но душой ты филолог. Литература и история тебя интересуют больше всего.

Познавательные способности, повторяю, у него были прекрасные; он не умел только усваивать и обобщать то, что познавал, - переваривать принятую пищу.

Однажды он входит ко мне и, не сказав ни слова, садится у окна, возле которого стоял мой письменный столик. Это было рано утром, я еще лежал на диване-кровати, закинув руки за голову, и раздумывал - идти мне сегодня на лекцию или нет? Погода стояла отвратительнейшая.

- В университет ты пойдешь сегодня? - спросил он меня.

- Да вот не знаю - погода ужасная. А что?

- Я хотел поручить тебе отвезти письмо к Некрасову. Хочешь?

Я вскочил даже на кровати.

- Конечно!

- Он издал свои сочинения. Ему долго не разрешали издания их. Разрешили - и он прислал мне один экземпляр с надписью. Самому мне ехать благодарить его - я цензор, цензую его журнал², и это будет неловко, бестактно; ничего не ответить ему на это или написать по почте - опять будет неловко в другом уж роде. Я поэтому остановился на мысли написать ему письмо, в котором благодарить его за это, и отправить его к нему с тобой. В письме я упомяну о том, что ты мой племянник.

- Я очень рад, - сказал я.

- Потому, - продолжал дядя, - что, если литератор с таким именем, как Некрасов, дарит цензору свои сочинения, это значит, что он уважает его, а это все, что цензор может получить от писателя, и чего, если он порядочный человек, должен добиваться.

Дядя был в возбужденном состоянии, он сиял точно. В это время, я уверен, он не отделял себя от Некрасова, и его взгляды, убеждения, направление считал своими и его дело тоже своим, кровным - любимое его выражение.

Он прочитал мне, пока я умывался, одевался и наскоро пил кофе, обстоятельную рацею о том, как человек должен ставить себя в жизни и вот тому пример и образчик - он, поставивший себя так, что литераторы даже, и такие звезды первой величины, как Некрасов и прочие (в это время, как сказано выше, он цензуровал "Современник", и для него не было литераторов выше, как те, которые писали в "Современнике"), относятся к нему с уважением и видят в нем прежде всего человека.

Он приходил ко мне спросить моего согласия на поездку с таким поручением, оказалось, только для проформы, письмо было уж написано у него, и он тут же Предал мне его.

- И ты, пожалуйста, извозчика возьми. У тебя есть деньги на извозчика? - заботился он.

- Есть... есть... А если я его не застану дома?

- Назад, назад!.. В твоей поездке только и есть тэг смысл, чтобы лично передать ему от меня письмо. А иначе что же? Я бы мог и с лакеем послать.

- А если скажут, что он скоро будет?

- Подожди. Ведь ты это можешь?

- Конечно.

Некрасов в это время жил уж на той же самой квартире, на углу Литейной и Бассейной, в доме Краевского, где он и умер потом. Я знал этот адрес и не один раз, проходя или проезжая по Литейной, всматривался в окна квартиры, не увижу ли человека, которого обожал за его стихотворения и за которого, как говорится, душу бы всю отдал. В гимназии я немножко даже пострадал за него: директор, делая у нас по ящикам осмотр или обыск, нашел однажды у меня тоненькую книжку его стихотворений (первое издание), где были и запрещенные тогда стихи: "Поэт и гражданин"³. Это было преступление, и заходила речь даже об исключении меня, но потом как-то замяли это дело.

В передней у Некрасова меня встретил его егерь в охотничьей одежде с зелеными обшивками и штук пять роскошнейших собак пойнтеров; все они окружили меня, обнюхивали и ласкались, я их гладил, трепал, как истый охотник сам.

- Дома Николай Алексеевич? - спросил я.

Егерь крикнул кого-то; вошел совершенно провинциального вида лакей, такой, как у нас был в Тамбове, и с серьезным лицом спросил:

- Вам что угодно?

- От цензора Рахманинова.

- Пожалуйста. - сухо сказал он и указал мне на дверь налево от входа.

Я вошел вместе с собаками в довольно большую комнату с бильярдом посредине, с чучелами медведей по углам и с гравюрами, изображавшими оленей и лосей, развешанными в массивных рамках по стенам. Собаки прыгали, ласкались, вообще встречали и продолжали занимать меня чрезвычайно радушно и гостеприимно. Я занялся ими и не заметил, как в дверях показалась фигура Некрасова в туфлях, халате и ермолке. Он был болезненно бледен, хмур и суров.

За ним стоял лакей. Некрасов полуобернулся к нему, и лакей, указывая на меня головой, сказал:

- Вот они-с.

Я приблизился и подал письмо. Некрасов торопливо, нервно распечатал его и стал читать. Я в это время рассматривал его исхудалое, пожелтевшее лицо, реденькую бородку и усы. Вдруг на губах у него показалась едва заметная, но ядовито-злая улыбка, и он, опуская письмо, перевел па меня иронически благодушно улыбающиеся глаза. Я невольно тоже улыбнулся.

- Я очень рад, - глухим голосом и, по обыкновению, берясь одной рукой за бородку, начал Некрасов, - что я доставил Федору Ивановичу удовольствие. Пожалуйста, передайте ему мой

поклон. Я бы сам к нему заехал, да вот совсем больной... простудился на охоте, должно быть... Да! - вдруг сказал он, точно вспомнив что,-- закусить не хотите ли? рюмку водки; адмиральский час ведь теперь... Василий!..

Вошел тот же человек его.

- Собери-ка нам чего-нибудь, что там есть... Пожалуйста, вот сюда, - продолжал Некрасов, беря меня рукой слегка за талию.

Мы вошли в следующую комнату, с богатыми турецкими диванами по стенам, огромным круглым столом, покрытым тяжелой дорогой скатертью.

- А вы никогда не говорите, что от цензора приехали,-- начал Некрасов, уж весело улыбаясь, когда мы уселись, - вы этим пугаете...

- Он такой ваш поклонник, - сказал я...

- Да и я, и все мы очень любим Федора Ивановича... Только страшно все-таки бывает! Ведь вот Фингал! - крикнул он на собаку; Фингал подбежал. - Ведь вот Фингал пес, а дашь ему плетку - несет, бережно, с любовью, а ведь тоже боится ее; скажешь; а где плетка? - слово только услышит "плетка", не знает еще, что с ним хотят делать, а уж боится, сейчас видно это. Так и мы. Шутите вы, в нашем деле - цензор! Да мы так генерал-губернатора не боимся, менторов так не боимся как Цензора, - царя он страшнее!

Я молчал. Мое положение было почти неловкое. Он, Должно быть, это сообразил или заметил и совсем уже благодушно, просто очаровывая меня ленивой, усталой, обычной, как я узнал это впоследствии, манерой своей, начал расспрашивать, что я тут делаю в Петербурге, учусь или служу уже.

- Я в университете,-- сказал я. (Мы носили тогда и форменное и свое платье; но я был в своем для солидности.)

Василий принес нам на подносе - громадном, какие бывали только у помещиков, - целый город закусок и бутылок, пять разных водок и поставил все это на столе.

Некрасов стал наливать водку.

- Вам какой?.. - спросил он.

- Я не пью никакой. - Я действительно тогда не пил еще совершенно ничего.

- Студент - и не пьет? что же такое это!..

Он протянул мне уж налитую рюмку и ждал, когда я возьму. Я взял ее больше уж из деликатности - как же, сам Некрасов подает! - и точно также не поставил ее обратно на стол, а поднес к губам, страшно посмотрел на нее и выпил.

- Это первая рюмка в моей жизни, - сказал я, поперхнувшись.

- Да?.. Ну, будет не последняя.

Он наложил мне целую тарелочку свежей икры и, как ни уверял я его, что это много, просил, чтобы я ел.

Я заметил, что он или нарочно тогда сказал, что он болен, или действительно теперь, со мною, хандра у него прошла, и он не замечал своей простуды: он был редко так благодушно настроен.

Провожая меня, когда я уж совсем уходил от него, он мне сказал:

- Вот когда-нибудь позавтракать с дяденькой-то зашли бы...

- Только как же тогда сказать ему о себе?

- Ну, да ведь это я шучу... Он хороший человек, я его люблю сердечно.

Федор Иванович уже ждал меня, и только что я к нему показался, он воскликнул:

- Не застал дома?

- Нет, он дома. Он кланяется, благодарит... Он закусывать меня у себя оставил.

- Ну, а так, какое впечатление? Ты заметил, как он читал мое письмо, какое оно произвело на него впечатление?

- Очень хорошее. Ему было приятно.

Я рассказал дяде о водке, что выпил первую рюмку из рук Некрасова, но о его рассуждениях о цензуре умолчал благо разумно.

Потом, в течение нескольких дней, Федор Иванович все нет-нет да и заведет речь о Некрасове, спросит о какой-нибудь подробности моего визита к нему. <...>

Как-то вечером, однажды, все в ту же зиму 1860/61 годов я зашел к дяде в кабинет и застал его в крайне раздраженном состоянии. Он то садился, то ходил из угла в угол по комнат" в своем просиженном халате и нервно улыбался, выказывая в то же время, по-своему, крайнюю любезность и предупредительность. Он был не один, у него сидел кто-то высокий, черный, с длинной узкой бородой и, ядовито улыбаясь, продолжал что-то рассказывать. Я хотел было уйти, предполагая, что они говорят о деле, заняты, но дядя остановил меня.

- Куда ты?.. Пожалуйста. Я остался.

- Это я замечал, это я и сам замечал, - на ходу говорил дядя; - действительно, как только является Некрасов, вслед за ним сейчас же и Панаев, а минут через пять и Чернышевский. Я это действительно и сам замечал.

Из дальнейшего их разговора я узнал, что речь идет о том, что они его "подводят", делают это "многообразно" и "многообразно", как выражался черный господин, а Чернышевский, мало того пишет, насобачился писать еще и этак и так, это чтобы дядя не вычеркивал из них, он не только не терял своего стиля и слога, но, казалось, приобретал и того и другого еще больше.

Я рассмеялся при этом невольно.

- Тебе смешно?

Дядя обернулся ко мне.

- Как же это может быть?

- Техника, - отвечал высокий брюнет.

- И Панаев с Некрасовым действительно всегда заводят разговор о постороннем, сидят, болтают, несут всякую чепуху, пока не явится Чернышевский. Он начинает просить поскорее прочитать и подписать корректуру, Даже останавливает Панаева не мешать мне, не

рассказывать всякий вздор; но могу ли я в это время спокойно заниматься?.. Ну, и проскакивает...

Оказалось, что этот черный господин был какой-то служащий в цензурном ведомстве и принес дяде известие, что ему будет сделано замечание или выговор за какую-то пропущенную им в "Современнике" статью⁴. И он же "открыл" дяде глаза на способ, употребляемый Некрасовым, Панаевым и Чернышевским для того, чтобы он поскорее и, стало быть, кое-как читал статьи для их журнала.

- Но довольно! Теперь я понимаю, и довольно! - решительным тоном говорил дядя, шагая по комнате. - Довольно¹..

Дверь в это время тихонько приотворилась, и горничная, выглянув в нее, проговорила:

- Господин Некрасов.

- Проси! - крикнул дядя, запахиваясь и не зная, уходить ему переодеваться или так его встретить. Высокий брюнет с черной бородкой поднялся и стал прощаться с дядей, я тоже поспешил уйти.

Через час, проходя зачем-то в "собственную" комнату квартирной хозяйки, для чего надо миновать переднюю, я услышал веселый смех дяди и голос Некрасова, что-то договаривавшего. Он его провожал и был в самом наилучшем настроении.

- Ну, что? - спросил я его, когда он, проводив его, зашел к старухе Шпильге.

- Ты про что? - уж с удивлением спросил он меня. - Было объяснение с Некрасовым?

- Ну, вздор какой... Нет, есть люди, - всякие добрые отношения, которые они видят у других, для них нож вострый, и они всеми силами стараются испортить их.

Он, очевидно, этим намекал на высокого брюнета с черной бородой и свои отношения с Некрасовым, Панаевым и Чернышевским.

Но, к сожалению, я узнал, много лет спустя, что это было именно так. Бедный мой дядя, веривший в искренность и расположение к нему Некрасова и Чернышевского, жестоко в этом заблуждался... Десять лет спустя, когда я ближе познакомился с Некрасовым, и не как писатель, а на охоте, я однажды на привале вспомнил старину, мою первую с ним встречу, заговорил и об этом "способе" его и Чернышевского в отношении Рахманинова.

- Да как же с ними! на каждого зверя особая ведь уловка должна быть, - ответил он, закидывая руки за голову и потягиваясь на разостланном мягком ковре.

- Он добрый малый был... для вас, - возразил я.

- Конечно. А знаете, отчего происходит добрый малый?-- и, смеясь, повернулся на бок ко мне лицом и сам же ответил на свой вопрос, - от добра моего...

Кто-то из сидевших и лежавших тут же на ковре - чуть ли не Ераков - начал этому смеяться. Тогда Некрасов приподнялся, сел на ковре и уж не шуточно, а совсем серьезно и с страшной вспыльчивостью заговорил о том, что он вытерпел и вынес от цензуры...

Сидевшие, вообще протестовавшие, тут молча слушали его. Но он недолго говорил об этом, замолчал, потом круто повернул на что-то другое.

Такого выражения у него в глазах я никогда не видывал после... Охотники видят это выражение в глазах у смертельно раненного медведя, когда подходят к нему и он глядит на них.

Примечания

Писатель Сергей Николаевич Терпигорев (1841--1895) встречался с Некрасовым, когда жил в Петербурге у своего дяди Ф. И. Рахманинова, цензурававшего "Современник" с перерывами в 1860--1862 годах.

Рахманинов ревностно исполнял свои обязанности и осложнял издание журнала. В начале 1861 года Некрасов сообщал Добролюбову: "... после больших хлопот мы-таки добились того, что нам дали в цензоры Бекетова! Что бы этот чудака ни стал делать, все это будет праздность после глупого Рахманинова, который с каким-то аматерским чувством относится к своей должности..." (X, 438).

В своих воспоминаниях Терпигорев рассказывает о том, к каким уловкам и ухищрениям нередко приходилось прибегать редакторам "Современника", чтобы усыпить бдительность Рахманинова, облегчить прохождение материала через цензуру. Меры Некрасова и его соредакторов не всегда достигали цели. Но без этих вынужденных тактических ходов невозможно было проводить в журнале идеи революционной демократии. Чернышевский писал в ноябре 1860 года Добролюбову: "Цензура испакостила Вашу статью о Неаполе и не пропустила "Свистка". Хлопотал я, хлопотал Некрасов,-- Успех оказался незавидный. Думаем переменить цензора. Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он глупая скотина. Напрасно вы с Некрасовым защищали его прежде. Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него, по крайней мере, 25 стаканов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда. Ну их к черту всех, от Ковалевского до Рахманинова..." (*Чернышевский*, т. XIV, стр. 415).

Терпигорев еще в гимназические годы увлекся поэзией Некрасова, о чем свидетельствует его первый незаконченный роман "Красные талы", написанный в форме диалога. "Образцом для романа, - признавался автор, - я действительно взял "Поэта и гражданина" Некрасова, причем сам был "Гражданином", а "Поэтом" один мой товарищ, и мы с ним читали наши диалоги перед любимой девушкой" (Собр. соч. С. Н. Терпигорева, СПб. изд. А. Ф. Маркса, т. VI, стр. 514). Позже в "Отечественных записках" Некрасов опубликовал его очерки "В степи" (1869), комедию "Слияние" (1870). После смерти Некрасова в этом же журнале при содействии Салтыкова-Щедрина было напечатано его самое значительное произведение - "Оскудение", изображающее пореформенную Россию, помещичье разорение. Терпигореву самому пришлось испытать цензурные гонения, и в этом смысле он сочувствует Некрасову. Но в то же время он пытается оправдать действия Рахманинова, сгладить его отношения с руководителями "Современника".

Печатается по журналу "Исторический вестник", 1896, март, стр. 798--802, 805--807.

¹ Стр. 208. Терпигорев поступал на юридический факультет Петербургского университета в 1860 г.

² Стр. 209. Речь идет о книге "Стихотворения Н. Некрасова. Издание второе с издания 1856 года, с прибавлением стихотворений, написанных после этого года", СПб. 1861. Цензурное разрешение 4 мая 1861 г. Ф. И. Рахманинов в то время не был цензором "Современника".

³ Стр. 210. Стихотворение "Поэт и гражданин", опубликованное в первом издании "Стихотворений" Некрасова (СПб. 1856), вызвало цензурные репрессии после того, как было перепечатано Чернышевским и Панаевым (наряду с другими стихотворениями поэта) в "Современнике" (1856, No 11).

⁴ Стр. 214. Рахманинов получил замечание от Главного управления цензуры за "допущение" им в "Современнике" "ряда статей, противодействующих коренным основам нашего устройства гражданского и общественного" в июле 1860 г. (В. Евгеньев-Максимов, "Современник" при Чернышевском и Добролюбом, Гослитиздат, Л. 1936, стр. 433). Значит, данный эпизод имел место не зимой (как пишет С. Терпигорев), а летом 1860 г.